
СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ВЛИЯНИЕ ПРОШЛОГО НА СОВРЕМЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

О.Ю. МАЛИНОВА*

НЕУДОБНЫЙ ЮБИЛЕЙ: ИТОГИ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ «МИФА ОСНОВАНИЯ» СССР В ОФИЦИАЛЬНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ НАРРАТИВЕ РФ¹

Аннотация. Статья посвящена анализу официальных политических решений, связанных с подготовкой к 100-летию революции 1917 года в России. На основе официальных документов, публичных выступлений политиков и материалов СМИ прослеживается эволюция подходов властвующей элиты постсоветской России к переосмыслению «мифа основания» советского государства и вписыванию его в новый исторический нарратив.

Ключевые слова: политика памяти; символическая политика государства; официальный исторический нарратив; коммеморация; революция 1917 года в России; Великая российская революция.

* **Малинова Ольга Юрьевна**, доктор философских наук, профессор, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: omalinova@hse.ru

Malinova Olga, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Science (Moscow, Russia), e-mail: omalinova@hse.ru

¹Статья подготовлена на основе исследования, проводимого в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2017–2018 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5–100», проект № 17-01-0034.

O.Yu. Malinova
Uncomfortable centenary: Preliminary results of reconsidering
«the founding myth» of the USSR in the Russian official
historical narrative

Abstract. The article analyses political decisions about commemoration of the centenary of the Revolution of 1917 in Russia. On the basis of the official documents, statements of the politicians and publications in media the author reveals the process of re-interpretations of the Revolution of 1917 in the Russian official historical narrative. This event is crucially important for development of the post-Soviet historical narrative as far as it had once played a role of «the foundational myth» of the Soviet regime.

Keywords: memory politics; symbolic policy; official historical narrative; commemoration; the Revolution of 1917 in Russia; Great Russian revolution.

Столетие революции 1917 года возвращает проблему интерпретации этого исторического события в повестку политики памяти, проводимой от имени Российского государства. После отмены праздника 7 ноября (в декабре 2004 г.) тема революции оказалась вытеснена из дискурса политического истеблишмента. Хотя общественные споры о значении событий 1917 г. никогда не прекращались, и в них нередко, особенно в канун юбилеев, включались лидеры тех или иных партий [см.: Малинова, 2015, гл. 2], президенты В.В. Путин и Д.А. Медведев избегали высказываний на данную тему. Акт отмены праздника и был выражением новой государственной оценки революции: он зафиксировал понижение символического статуса события, некогда служившего «мифом основания» Советской России¹. Однако это было скорее тактическое, нежели стратегическое решение: оно не столько свидетельствовало о содержательной оценке революции и определяло ее место в официальном историческом нарративе², сколько позволяло политикам,

¹ *Миф основания* (foundation myth) – это история о моменте «начала» группы, политической системы или какой-то области деятельности, которая открывает перспективу определенного будущего. Мифы этого типа несут в себе идею, что «потом» все будет по-другому (лучше) и что новая система избавлена от того, что было неприемлемо в старой [Schöpflin, 1997, p. 33]. «Великая Октябрьская социалистическая революция» выполняла функцию такого мифа для Советской России.

² Под *историческим нарративом* здесь понимается смысловая схема, которая описывает генеалогию макрополитического сообщества / нации и «объяс-

выступающим от имени государства, уклониться от необходимости принять ту или иную сторону в спорах, раскалывающих общество.

Надвигающийся юбилей вынуждает властвующую элиту вернуться на арену символической борьбы, поскольку масштаб события не позволяет отказаться от его коммеморации¹. А это, в свою очередь, требует выработки некой содержательной позиции. О том, что юбилей «неудобен» для политиков, выступающих от имени государства, свидетельствует и то, что решения о формате его проведения были приняты беспрецедентно поздно. Как правило, подготовка коммеморации подобных всемирно-исторических событий начинается заблаговременно, ибо приуроченные к ним научные и общественно-просветительские проекты требуют не только ресурсов, но и времени. Распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России, было подписано президентом Путиным в декабре 2016 г., менее чем за два месяца до юбилея Февраля и менее чем за 11 месяцев до юбилея Октября. Будучи предельно кратким, оно отражало важные символические решения. Во-первых, подлежащее коммеморации событие было названо «революцией 1917 года в России». На фоне других обсуждаемых вариантов – «великая», «русская», «российская», «социалистическая» и др. – этот выбор кажется нарочито нейтральным. Тем не менее он недвусмысленно отказывает «революции 1917 года» в «величии». Во-вторых, участие государства в подготовке юбилейных торжеств сведено к выделению ресурсов. Все полномочия по подготовке и проведению юбилейных мероприятий были поручены организационному комитету, который «рекомендовалось организовать» Российскому историческому обществу (РИО) [Распоряжение... 2016]. Для срав-

няет», каким образом его прошлое «определяет» его настоящее и будущее. *Официальным*, на наш взгляд, может считаться *нарратив*, который представлен в текстах и актах, освященных авторитетом государства [подробнее см.: Малинова, 2016]. Процесс принятия решений, формирующих такой нарратив, – в отличие от его результата – не является публичным. Акторов этого процесса я называю *властвующей элитой*, имея в виду совокупность должностных лиц, участвующих в выработке политики памяти, осуществляемой от лица государства [см.: Малинова, 2015, с. 27–29].

¹ Термином *коммеморация* принято обозначать совокупность публичных актов, направленных на «увековечивание», точнее – актуализацию памяти об исторических событиях и фигурах.

нения: подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне началась в 2013 г.; заседаниями оргкомитета руководил лично президент В.В. Путин.

Столь очевидное различие подходов к коммеморации двух событий, служивших главными узловыми точками советского исторического нарратива, подтверждает приверженность властвующей элиты установке на понижение символического статуса «мифа основания» Советской России. Однако на этот раз обстоятельства не позволяют уклониться от смысловых оценок. По иронии, в поисках приемлемой формулы коммеморации столетия революции Путин и его администрация не нашли ничего лучше ельцинского «примирения и согласия», от которого отказались в 2004 г., отменяя праздник 7 ноября. Именно так смысл предстоящего юбилея был определен в послании президента Федеральному собранию. Упомянув о необходимости «еще раз обратиться к причинам и самой природе революций в России», Путин подчеркнул, что «уроки истории нужны нам прежде всего для *примирения*, для укрепления общественного, политического, гражданского *согласия*, которого нам удалось сегодня достичь (выделено мною. – О. М.)» [Путин, 2016]. Та же смысловая линия прослеживается и в плане основных мероприятий, подготовленном оргкомитетом, созданным РИО: наряду с выставками, конференциями, круглыми столами, издательскими и образовательными проектами он предусматривает три «мемориальных мероприятия», главным из которых очевидно станут установка и открытие памятника Примирения в Керчи, запланированная на 4 ноября 2017 г.¹ [План... 2017, с. 13].

Что означает это возвращение к формуле 20-летней давности? Каким образом она вписывается в современный официальный исторический нарратив? И какова вероятность того, что, не сработав тогда, она окажется более успешной сейчас? Действительно ли «согласие» по поводу прошлого и настоящего, не сложившееся в 1990-х годах, «достигнуто сегодня»? Ответы на эти вопросы даст ближайшее будущее. Но уже сейчас можно оценить потенциальные возможности и ограничения подхода, выбранного властвующей

¹ Два других пункта этого раздела плана – программа «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год», проходившая в храме Христа Спасителя 18–19 февраля 2017 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (она включала научную конференцию и литургию) и издание серии художественных почтовых марок.

щей элитой, реконструировав логику эволюции официального исторического нарратива в постсоветской России. Решению этой задачи и посвящена настоящая статья. На основе официальных документов, публичных выступлений политиков и материалов СМИ я прослежу основные этапы трансформации официального исторического нарратива, фокусируя внимание на изменении смысловой роли событий 1917 г. Я начну с описания теоретической модели, поясняющей логику анализа. Она основана на социально-конструктивистском подходе и опирается на фундаментальные посылки концепции *символической политики*, которая служит для анализа публичных действий и взаимодействий, связанных с утверждением конкурирующих способов интерпретации социальной реальности [подробнее см.: Малинова, 2012]. Отталкиваясь от культурных моделей работы с прошлым, задающих векторы российской политики памяти, я проанализирую, как на разных этапах решалась задача переосмысления «мифа основания» советского государства.

Постсоветская символическая политика: Теоретическая модель для анализа политики памяти

Продвигая или поддерживая определенные интерпретации коллективного прошлого, представители властвующей элиты преследуют политические цели, которые не обязательно связаны с формированием определенной концепции прошлого: они стремятся легитимировать собственную власть, укрепить солидарность общества, оправдать принимаемые решения, мобилизовать электоральную поддержку, показать несостоятельность оппонентов и проч. По этой причине термины «историческая политика» и «политика памяти» не всегда подходят для описания *политического использования прошлого*. Последнее понятие шире предыдущих, оно описывает любые практики обращения к прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в последовательную стратегию. Термин «историческая политика» возник как категория политической практики – сначала в 1980-х годах в ФРГ, затем в 2000-х годах в Польше; он описывает определенный тип политики, использующей прошлое. По определению А. Миллера, *историческая политика* – это особая конфигурация

методов, предполагающая «использование государственных административных и финансовых ресурсов в сфере истории и политики памяти в интересах правящей элиты» [Миллер, 2012, с. 19]. Интерпретируемая таким образом историческая политика оказывается частным случаем *политики памяти*, под которой понимается деятельность государства и других акторов, направленная на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование поддерживающей их инфраструктуры. Все три понятия – политическое использование прошлого, политика памяти и историческая политика – могут рассматриваться как проявления символической политики, связанной с конструированием представлений о прошлом. Эту область символической политики по праву можно считать одной из основных, ибо, как точно заметил П. Бурдьё, для внедрения новых представлений о строении социальной реальности «самыми типичными стратегиями конструирования являются те, которые нацелены на ретроспективную реконструкцию прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение, предназначенное ограничить всегда открытый смысл настоящего» [Бурдьё, 2007, с. 79].

Нередко утверждают, что коллективная память оперирует *мифами* – упрощенными и эмоционально окрашенными нарративами, которые сводят сложные и противоречивые исторические процессы к удобным для восприятия простым и «самоочевидным» схемам. Мне представляется более точным говорить об *актуализированном прошлом* (по-английски – *usable past*) как о своеобразном репертуаре исторических событий, фигур и символов, которые наделяются смыслами, в той или иной мере значимыми для современных политических и культурных практик. Ядро этого репертуара образовано уже «состоявшимися» мифами, периферия же представляет собой пестрый набор не столь «самоочевидных», но тем не менее узнаваемых смысловых ассоциаций.

Репертуар актуализированного прошлого в известном смысле является общим «достоянием» всех участников публичного пространства и может служить предметом интерпретации, присвоения и оспаривания. Вместе с тем властвующая элита распоряжается ресурсами, позволяющими формировать «*инфраструктуру*» *коллективной памяти*. В частности – регулировать содержание

школьных программ и учебников, вносить изменения в календарь праздников и памятных дат, учреждать государственную символику и награды, регламентировать официальные ритуалы, определять символическую конфигурацию публичных пространств (топонимия, памятники) и проч. Поэтому можно сказать, что актуализированное прошлое является для политиков и ресурсом, применение которого сопряжено с определенными выгодами и рисками, и объектом символических инвестиций. Октябрьская революция 1917 года остается частью актуализированного прошлого, в том числе и потому, что мифы о ней опираются на инфраструктуру памяти, созданную в советский период.

Политика памяти в постсоветской России изначально представляла собой «поле битвы», на котором сталкивались не просто соперничающие идеологические интерпретации ключевых исторических событий, но принципиально разные культурные модели работы над прошлым.

С одной стороны, продолжалось начатое еще в период перестройки переосмысление истории, связанное с «восстановлением памяти» о принудительно забытом прошлом и осознанием «человеческой цены» того, что в советском нарративе представлялось в качестве достижений социалистического режима. Такая политика памяти вписывается в модель «*проработки трудного прошлого / коллективной травмы*»¹, которую с большим или меньшим успехом осваивают многие страны, получившие в наследие от бурного и трагического XX в. «память» о гражданских войнах, массовых репрессиях, этнических чистках, геноциде и иных преступлениях против человечности. Политика «проработки прошлого» связана с «дискурсом о преступлении и травме», с «устранением причиняющей боль асимметрии памяти» жертв, с разоблачением и осуждением преступников, и в конечном счете – с поисками примиряющего нарратива, позволяющего противоборствующим сторонам «включить свое противоположное видение событий в общий контекст более высокого уровня» [Ассман, 2014, с. 69, 72]. Однако даже в

¹ Мне представляется, что, хотя коллективная травма часто выступает определяющим фактором такой политики памяти, неверно сводить ее к этому аспекту: речь идет о более комплексном процессе, который имеет разные векторы для разных групп.

случае успеха «примирение и согласие» – это скорее (всегда обратимый) процесс, нежели окончательный результат.

С другой стороны, после распада СССР возникла необходимость конструирования исторического нарратива, способного служить основанием новой макрополитической идентичности. В российском случае эта типовая задача политики памяти, которую элиты многих стран решали в процессе нациестроительства, осложняется тем, что речь идет о «выкраивании» истории «нации» для сообщества, выступающего наследником ядра империи (точнее, даже двух империй). Отсутствие определенности относительно других элементов конструируемой идентичности (в частности, оснований идентификации и символических / географических границ сообщества) дополнительно усугубляет ситуацию. Вместе с тем *политика памяти, направленная на консолидацию нации*, имеет определенную логику: в таких случаях основной упор делается на событиях и символах прошлого, укрепляющих положительные представления нации о себе [Smith, 1999; Coakley, 2007; Каспэ, 2012]. Полезным «строительным материалом» для консолидирующих национальных нарративов оказывается «память» о былых победах, о ключевых вехах строительства государства, о вкладе соотечественников в сокровищницу мировой культуры и т.п. Наглядной иллюстрацией этого репертуара могут служить памятники государственным деятелям, полководцам, героям и деятелям культуры, установленные в столицах разных стран мира.

У описанных моделей политики памяти разные задачи и разные механизмы. Первая из них является ответом на «асимметрию памяти», вызванную принудительным «забвением». Она работает с наследием «преступления и травмы», которое разделяет общество на группы и побуждает испытывать гнев, стыд и скорбь. Вторая модель, напротив, нацелена на консолидацию нации вокруг наследия прошлого, которым можно гордиться. Оба типа политики памяти построены на «вспоминании» и «забвении», но осуществляют их на свой лад. В постсоветской России эти разные политики памяти проводятся одновременно, и за ними стоят разные коалиции общественных сил.

Революция 1917 года оказывается отправной точкой для нарративов, на которые опирается политика «проработки прошлого» – как поворотное событие, запустившее череду трагических последствий (распад империи, Гражданскую войну, «красный» и

«белый» террор, издержки «ускоренной модернизации», массовые репрессии и др.). Но одновременно она является важным символическим ресурсом для «нациестроительной» политики памяти: во-первых, как момент исторической трансформации, который нельзя игнорировать, во-вторых, как событие, оказавшее огромное влияние на ход мировой истории. В логике нациестроительства такие события представляются особо ценными символическими ресурсами, ибо они служат подтверждением «миссии нации». Именно такую функцию миф о Великой Октябрьской революции выполнял в советском историческом нарративе. Кризис, а затем и распад советской идеологии поставили этот миф под сомнение. Но будучи одной из опор советской идентичности, он не может быть просто «забыт» – он должен быть трансформирован. Тем более что «всемирно-историческое значение» революции остается фактом, который не ставится под сомнение.

Это противоречивое наложение смысловых векторов реинтерпретации революции 1917 года делает выработку ее «государственной оценки» сложной политической задачей. На протяжении четверти века после распада СССР властвующая элита решала ее по-разному.

«Критический» нарратив 1990-х: Революция как «катастрофический срыв»

Постсоветская политика памяти в полной мере отражает дилеммы, с которыми сопряжено конструирование идентичности сообщества, стоящего за современным Российским государством. Демонтаж советского режима облегчался распадом поддерживавшего его идеологического «метанарратива», который произошел еще в конце 1980-х годов [Gill, 2013]. Однако для мобилизации поддержки трудных реформ требовалось найти какие-то «замещающие» конструкции. В отсутствие готовой «теории посткоммунистической трансформации» наиболее очевидным способом построения такого рода конструкций стала переоценка опыта «Запада» – и собственного прошлого.

1990-е годы прошли под знаком острой конфронтации между сторонниками и противниками Б.Н. Ельцина, что затрудняло формирование государственной политики памяти. Риторика пре-

зидента и его соратников была всецело подчинена оправданию курса на радикальную трансформацию «тоталитарного» порядка (формулировки целей имели отчетливые коннотации с идеологемами холодной войны), что влекло за собой критику советского опыта. Исторический нарратив, артикулировавшийся исполнительной властью, можно назвать *критическим*. Продолжая проработку трудного прошлого, начатую в годы перестройки, он развивал идею *новой России*, противопоставляя ее России «тоталитарной», советской.

Отношение к дореволюционному наследию было более сложным. С одной стороны, начатые преобразования интерпретировались как «восстановление связи времен», разорванной в годы советской власти. С другой стороны, в дискурсе ельцинской элиты дореволюционное прошлое нередко описывалось сквозь смысловую рамку авторитарной традиции, которую преодолевает современная, демократическая Россия. Напоминания о хрупкости ростков либерализма выполняли мобилизационную функцию: они должны были оттенить грандиозность переживаемых реформ и одновременно подчеркнуть связанные с ними риски¹. Думается, однако, что стремление элиты начала 1990-х противопоставлять «демократическую» Россию как «советской», так и «царской» было связано не только с политической прагматикой. Оно опиралось на представления, сформированные советским нарративом о дореволюционном прошлом, стержнем которого была история революционно-освободительной борьбы с самодержавием, увенчавшейся Октябрьской революцией. Критическая реинтерпретация «главного события XX века» меняла оценки с плюса на минус, не пересматривая связи событий, заданные прежним нарративом. Это логически вело к выводу о закономерности «тоталитарного» режима на отечественной почве². Хотя представители ельцинской

¹ Вот пример подобной аргументации, взятый из выступления Ельцина: «Россия хорошо знает, что такое право силы. Осознать силу права только предстоит... Тем самым зреет опасное для нашего развития явление: права личности, никогда в отечественной истории не считавшиеся практическим государственным приоритетом, рискуют и впредь остаться декларативными» [Ельцин, 1995].

² Проиллюстрируем эту логику характерным примером из публицистики тех лет: «То, что первый тоталитарный режим XX века возник именно у нас, неудивительно: традиция древняя, при Иване Грозном уже во всех основных чертах сложившаяся. Бедное население, слабая экономика, требующая постоянных рас-

элиты не делали подобных умозаключений публично, они конструировали образ новой, демократической России, противопоставляя настоящее (авторитарному и тоталитарному) прошлому; идея преемственности с отечественной демократической традицией использовалась в их риторике крайне редко.

Значение революции в официальном дискурсе 1990-х годов подверглось радикальной переоценке. То, что в советское время интерпретировалось как исторический рывок, позволивший России стать лидером прогресса (по коммунистической версии), трансформировалось в «катастрофу», прервавшую «нормальный» путь развития страны. Действия реформаторов представлялись как возобновление демократического проекта, прерванного Октябрьской революцией. Именно такую смысловую схему событий XX в. Б.Н. Ельцин предложил, выступая перед участниками Конституционного совещания – конференции представителей органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций, созванной им в июне 1993 г. для завершения подготовки «президентского» проекта новой Конституции Российской Федерации, альтернативного проекту, который был подготовлен Конституционной комиссией Съезда народных депутатов. Обосновывая необходимость «демократической» конституции, решительно порывающей с советскими традициями, Ельцин возводил ее генеалогию к событиям 1917 г.: «С принятием Конституции завершится учреждение подлинной демократической республики в России, – утверждал он. – Судьбе было угодно, чтобы этот процесс растянулся на многие десятилетия. Республика в нашей стране была провозглашена 1 сентября 1917 года декретом Временного Правительства. Ее становление было сразу прервано Октябрьской революцией, которая провозгласила Республику Советов. Сейчас рождается новая республика – Федеративное демократическое государство народов России» [Ельцин, 1993]. Апеллируя к послеоктябрьской истории, Ельцин доказывал нелегитимность противостоящего ему Верховного Совета: «Советы разогнали в 1918 году Учредительное собрание, а оно было сформировано в ходе демо-

ходов большая армия, отчасти расселенная по слободам на подножный корм. Странная при отсталости страны спесь, мессианство религиозное (потом – коммунистическое), болезненное недоверие к “западу” при склонности к компромиссам с “востоком”...» [Голованов, 1996].

кратических выборов. Нынешние представительные органы избирались на основе советского избирательного закона, а значит, они остаются продолжателями захваченной силой власти. В демократической системе они не легитимны» [Ельцин, 1993]. Однако Конституция 1993 г., принятая по итогам насильственного «разрешения» конфликта между президентом и Верховным Советом, не могла восприниматься как полноценное «восстановление легитимности».

В феврале 1996 г., в рамках фактически начавшейся президентской избирательной кампании, Ельцин включил в свое ежегодное послание Федеральному собранию РФ большой фрагмент, излагавший официальный нарратив истории XX в. В нем уже не было речи о преемственности между Февралем 1917 г. и новой, демократической Россией, зато подробно описывались катастрофические последствия «особого пути», начатого Октябрем. Напоминая, что в XX в. другие «государства отказывались от авторитарных форм правления, переходили к демократии, к поиску разумных сочетаний свободы и справедливости, рынка и социальных гарантий государства», Ельцин признавал, что «царская Россия, обремененная грузом собственных исторических проблем, не смогла выйти на эту дорогу» [Ельцин, 1996]. Он утверждал, что отсутствие демократических традиций в совокупности с «глубиной общественных противоречий» предопределили «радикализм российского революционного процесса, его стремительный срыв от Февраля к Октябрю». В свою очередь, Октябрьская катастрофа стала разрушительным фактором, лишившим Россию накопленного культурного достояния («Этим разрушительным радикализмом – “до основанья, а затем” – объясняется тот факт, что в ходе ломки прежних устоев оказалось утрачено многое из достижений дореволюционной России в сфере культуры, экономики, права, общественно-политического развития» [там же]). Ельцин крайне негативно характеризовал предложенную большевиками «сверхжесткую мобилизационную модель развития» и демонстративно отказывался от позитивной оценки того, что прежде ставилось в заслугу советскому режиму: он подчеркивал, что «превращение России в мощную военно-индустриальную державу было достигнуто надрывом сил народа, за счет колоссальных людских потерь», и полностью исключил из своего пересказа политической истории России тему

Великой Отечественной войны [Ельцин, 1996]¹. В контексте избирательной кампании, в которой его главным противником был кандидат от народно-патриотического блока Г.А. Зюганов, Ельцину важно было показать, сколь гибелен путь, на который призывают вернуться его оппоненты. Логика политической борьбы укрепляла стремление властвующей элиты конструировать образ «новой» России по принципу контраста, заостря негативные оценки прошлого.

Переопределение Октября в качестве «трагедии» и «катастрофы» означало радикальную трансформацию советского мифа: то, что прежде воспринималось в качестве «национальной славы», теперь стало рассматриваться в логике «коллективной травмы». Трудно сказать, имела ли шансы на успех попытка столь радикального замещения фреймов коллективной памяти о некогда «главном событии XX века». Однако она не только не была поддержана достаточными ресурсами, но и столкнулась с весьма успешным контрдискурсом, который, в отличие от символической политики властвующей элиты, опирался на менее рискованную стратегию частичной трансформации привычного нарратива.

Главной смысловой доминантой дискурса «народно-патриотической оппозиции» были распад СССР и «разбазаривание» ее достижений. Октябрьская революция, формально сохраняя значение мифа основания исчезнувшей страны, превращалась в удобный для политических манипуляций *символ утраты* – тем более что сохранение за 7 ноября статуса праздничного дня давало повод для ежегодной коммеморации. В свете итогов завершившейся недавно холодной войны Октябрь 1917 года представлялся как эпизод цивилизационного противостояния Запада с Россией, выступающей в роли «последнего противовеса» его гегемонизму. В рамках такой смысловой схемы Октябрь лишался части своего героического ореола и становился одним из эпизодов многовекового «столкновения цивилизаций». Одновременно он приобретал новое качество, превращаясь из события, разделяющего прошлое на «до» и «после», в своеобразную кульминацию «русского духа»

¹ Это не значит, что тема войны не была отражена в послании. Завершая его, Ельцин произнес: «Верю в свое поколение, мужавшее в годы войны и тяжелой мирной жизни, которое не сломить под грузом нынешних проблем» [Ельцин, 1996]. Таким образом, тема войны была представлена как бы в другой плоскости – как «живая память», а не «политическая история».

и даже в символ его преемственности. Согласно концепции Г.А. Зюганова, «Советская власть... унаследовала у исторической России как нравственные идеалы, так и ее державный опыт в постройке мощного государства», что и привело к ее небывалому подъему в XX в. [Зюганов, 1994, с. 144]. Классовый подход к построению исторического нарратива был заменен националистическим.

Строго говоря, акцентирование преемственности отечественной истории в духе националистической парадигмы ставило под сомнение ее прежнюю функцию, ибо миф основания требует противопоставления «до» и «после». Однако поскольку революция продолжала рассматриваться как событие, причинно связанное с успешной модернизацией, победой над фашизмом, превращением России в великую державу, созданием справедливой системы распределения (пусть и при не вполне эффективной экономике) и др. достижениями, знакомыми по советскому канону, сохранялась возможность использования прежнего смыслового репертуара. В конце концов, Октябрьская революция оставалась центральным элементом коммунистической мифологии, что позволяло опираться на «инфраструктуру» коллективной памяти, унаследованную от СССР, включая традицию ежегодной коммеморации. Как показала К. Смит, начиная с 1991 г. ритуалы празднования 7 ноября менялись, приспособляясь к новому контексту: в отличие от критиков Октября, которым не удалось закрепить практику гражданских антикоммунистических контрдемонстраций (они были действительно массовыми лишь в 1991–1992 гг.), его сторонники вполне успешно совершенствовали свои праздничные ритуалы, осваивая новые места памяти [Smith, 2002, p. 81–83]. Благодаря удачно найденной стратегии трансформации советского нарратива коммунисты и их союзники сумели воспользоваться доставшимися по наследству символическими ресурсами, ценность которых усиливалась по мере роста ностальгии по утраченной «стабильности». Даже будучи лишены возможности «инвестировать» в дальнейшее развитие этих ресурсов, на первых порах они пользовались значительным преимуществом перед противниками.

Таким образом, попытки властвующей элиты представить революцию как трагедию, отвечавшие культурной модели проработки «трудного» прошлого, наталкивались на стремление «народно-патриотической» оппозиции превратить ее в одну из несущих

щих опор национальной идентичности. В силу этого в 1990-х годах Октябрьская революция переоценивалась по принципу игры с нулевой суммой.

После выборов 1996 г., продемонстрировавших готовность значительной части избирателей поддержать кандидата от КРПФ, Ельцин и его окружение начали принимать меры к смягчению конфронтации. 7 ноября 1996 г., за год до 80-летия Октябрьской революции, Б.Н. Ельцин издал указ, введивший новую формулу праздника, оставшегося в наследство от советской власти – День согласия и примирения, – и объявлявший 1997 год Годом согласия и примирения. В том же указе было предусмотрено проведение конкурса по созданию памятников, увековечивающих память жертв революций, Гражданской войны и политических репрессий [О Дне... 1996]¹. Как вспоминала потом Л. Пихоя, идея переименования праздника возникла в октябре 1996 г. на одном из совещаний у руководителя президентской администрации А. Чубайса: «Сама идея заключалась в следующем: в конце концов, после Великой Октябрьской революции прошло более 70 лет, и можно изменить символику. Почему бы не переименовать праздник Великой Октябрьской революции в праздник, объединяющий всех, в День согласия и примирения? То есть Октябрьская революция всех разделила, но мы не отменяем этот праздник, а переименовываем» [Соколова, Яковлева, 2004]. По-видимому, решение действительно было спонтанным; Ельцин подписал указ через день после операции на сердце, как потом злословили оппоненты, «не приходя в сознание после наркоза».

Ни в 1997 г., ни позже не было предпринято каких-либо попыток сформировать новые сценарии и ритуалы для 7 ноября в качестве Дня согласия и примирения [см.: Пинскер, 1997]. Во время празднования 80-летия Октябрьской революции Ельцин воздержался от комментариев по поводу юбилейной даты; в своем

¹ Эта инициатива так и не была реализована. В 2011 г. в предложениях об учреждении общенациональной государственно-общественной программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении», подготовленных рабочей группой Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, вновь говорилось о необходимости создания «как минимум двух общенациональных мемориально-музейных комплексов рядом с обеими столицами и монументального памятника жертвам в центре Москвы» [Предложения... 2011].

традиционном радиообращении, прозвучавшем незадолго до праздника, он ограничился призывом не участвовать в осенних мероприятиях оппозиции, а заняться домашними делами: квасить капусту, утеплять окна и вообще готовиться к зиме [см.: Драгунский, 1997]. Таким образом, юбилейная дискуссия о значении революции происходила на фоне демонстративного отказа главы государства обсуждать данную тему. Объявленное «согласие и примирение» не наступило не только потому, что оппоненты оказались к нему не готовы, но и потому, что его инициаторы – президент и его администрация – не проявили должной настойчивости в трансформации одного из основных элементов инфраструктуры, поддерживающей советский миф об Октябре – посвященного ему праздника.

«Апологетический» нарратив 2000-х: «Октябрьский переворот» или забытая революция?

С приходом к власти В.В. Путина в практике политического использования прошлого произошли изменения. В начале 2000-х годов принцип построения официального исторического нарратива изменился: «новая» Россия была объявлена законной наследницей «тысячелетнего государства», таким образом, во главу угла ставилась *преемственность*. Не будучи в отличие от своего предшественника связан принадлежностью к политико-идеологическим лагерям 1990-х годов, В.В. Путин мог себе позволить использовать идеи и символы из репертуара «народно-патриотической оппозиции», казавшиеся абсолютно неприемлемыми «демократам». Новшества заключались не только в избирательной «реабилитации» советских символов: теперь стержнем символической политики стала идея великодержавности, проецируемая на всю «тысячелетнюю историю» России. В путинском официальном дискурсе именно государство (вне зависимости от менявшихся границ и политических режимов) стало представляться в качестве ценностного стержня, скрепляющего макрополитическую идентичность. Такой принцип построения официального исторического нарратива можно назвать *апологетическим*, поскольку он сосредоточен на «позитивных» эпизодах, поддерживающих высокую коллективную самооценку. Центральным смысловым моментом нового нар-

ратива – своеобразным «мифом основания» современной России – стала Великая Отечественная война [Копосов, 2011, с. 163–164]. При этом прошлое «использовалось» в технике коллажа: на стержень «тысячелетнего великого государства» нанизывались события и фигуры, которые в логике других смысловых схем, конкурирующих в публичном пространстве, представлялись взаимоисключающими.

Это было удобное технологическое решение, позволявшее избирательно использовать советское прошлое, исключая при этом из репертуара наиболее одиозные моменты. В выступлениях Путина и позднее Д.А. Медведева можно обнаружить немало критических оценок советского опыта; речь не шла о его тотальной апологии. Тем не менее тема «трудного прошлого» перестала быть частью официального нарратива¹. История СССР оказалась «политически пригодной» прежде всего как история великой державы, которая несмотря на все трудности смогла осуществить (пусть и не вполне совершенную) модернизацию и превратиться в ведущего актора мировой политики. Тоталитарные практики и репрессии были «вынесены за скобки». Как заметил И. Калинин, мы имеем дело с «политикой, направленной на перекодирование ностальгии по советскому прошлому в новую форму российского патриотизма, для которого «советское», будучи лишено исторической специфики, рассматривается как часть широко понимаемого... культурного наследия» [Kalinin, 2011, p. 157]. Примечательно, что сходная редукция «памяти» имела место в массовом сознании [Дубин, 2011, с. 18–19].

В этом контексте теоретически были возможны разные подходы к работе с символом Октябрьской революции: как мы видели на примере «народно-патриотического» дискурса, потенциал «ве-

¹ Случаи обращения к ней первых лиц государства редки [см.: Малинова, 2015, с. 171–173]. В 2010 г. Д.А. Медведев дал однозначную официальную «государственную оценку» Сталину. Накануне Дня Победы он заявил в интервью «Известиям», что «Сталин совершил массу преступлений против своего народа. И несмотря на то, что... под его руководством страна добивалась успехов, то, что было сделано в отношении собственного народа, не может быть прощено» [Медведев, 2010]. Оценки же Путина, который время от времени поднимает эту тему в режиме произвольного диалога, всегда намеренно неоднозначны: не солидаризируясь с теми, кто настаивает на «возвращении» Сталина в пантеон героев, он неизменно демонстрирует понимание их точки зрения.

ликого события» вполне мог быть использован в качестве строительного материала для «государственнического» нарратива – особенно с учетом вышеупомянутой операции перекодирования. В публицистике того времени не было недостатка в предложениях именно такого варианта «использования» Октября. Одни авторы подчеркивали международный потенциал этого символа: «Впервые Россия (СССР явился лишь временной формой ее существования) в огромной степени влияла на умонастроения в глобальном масштабе. Она предлагала свою модель развития (именно российскую, а не интернационально-коммунистическую) в качестве образца всему миру. Впервые был брошен нешуточный вызов абсолютной ценности западноевропейского опыта для остального человечества» [Никонов, 1999]. Другие интерпретировали Октябрьскую революцию как событие, предотвратившее «распад России» и сохранившее за ней «статус великой державы, а не “чистого листа бумаги”, как того хотел в 1918 году американский президент Вильсон, сводивший в то время границы России “к среднерусской возвышенности”» [Константинов, 2000]. Многие выступали с предложением вернуть прежнее название праздника. Как писал один из авторов «Российской газеты», «нам нет резона стыдиться этого вселенского потрясения, которое в последнее время кое-кто низводит до уровня “большевистского переворота”», поэтому те, кто «предлагает забыть о нем, как о некоей беспричинной семейной склоке, объявив годовщину Октябрьской революции “Днем согласия и примирения”», лишают Россию ее истории [Васильков, 2000; ср.: Константинов, 2000]. Эти и другие подобные публикации были ответом на изменения символической политики, обозначенные первыми шагами Путина на посту президента: казалось, что признание «несомненных достижений» советской эпохи открывает возможность для изменения официальной интерпретации Октября.

Собственно, реализуя «доктрину тотальной преемственности» путинская элита шла по стопам КПРФ, которая в начале 1990-х трансформировала советский нарратив, сделав историю СССР своеобразной кульминацией «тысячелетней истории» русского народа. Правда, сама по себе версия, разработанная «народно-патриотической оппозицией», не подходила на роль официального нарратива, поскольку она была построена по модели мифа об утраченном «золотом веке» [см.: Schöpflin, 1997; Smith, 1999], т.е.

воспроизводила смысловую схему, в которой [печальное] настоящее противопоставлялось [прекрасному] прошлому, чтобы мобилизовать сообщество на перемены ради [светлого] будущего. Такая схема была удобна для оппозиции, но не для властвующей элиты, которой было важно оправдать настоящее. Тем не менее пересказывание советского прошлого «патриотическим языком общего наследия» [Kalinin, 2011, p. 159] в принципе позволяло не только «забыть» о его «неудобных» страницах, но и переосмыслить символ Октября как – пусть не кульминационный, но все же «великий» – эпизод «тысячелетней истории». Это не слишком выбивалось бы из общей эклектической конструкции «тысячелетней истории».

Однако этого не произошло, Путин и его соратники предпочли продолжить демонтаж «инфраструктуры» коллективной памяти о революции, отменив в 2004 г. посвященный ей праздник. В начале 2000-х годов федеральные и московские власти пытались экспериментировать с форматами празднования 7 ноября, именовавшегося теперь Днем согласия и примирения. В 2000 г. в этот день помимо традиционных демонстраций и митингов левых сил на Васильевском спуске прошла молодежная акция движения «Идущие вместе», посвященная президенту Владимиру Путину, а на Ордынке открыли памятник Анне Ахматовой [Закатнова, 2000]. В 2001 г. 7 ноября проходил торжественный парад на Красной площади, посвященный 60-летию парада 1941 г.; а во второй половине дня в тот же день члены общероссийской молодежной общественной организации «Идущие вместе» проводили акцию по очистке города от мусора [Тучкова, 2001]. В 2003 г. праздник проходил незадолго до думских выборов, и был отмечен мероприятиями не только левых, но и правых сил. Однако эти эксперименты не имели продолжения, и единственным устойчивым ритуалом праздника оставались мероприятия левых.

В конце 2004 г. в результате внесения поправок в Трудовой кодекс 7 ноября перестало быть нерабочим праздничным днем. «Вместо него» появился новый государственный праздник – День народного единства 4 ноября, весьма условно приуроченный к дате освобождения Китай-города бойцами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 г. Операцию по замене праздника в каком-то смысле облегчило переименование, произведенное Ельциным: праздник был не

просто отменен, а заменен на День народного единства 4 ноября. Инициатором замены выступил Межрелигиозный совет России, объединяющий так называемые традиционные конфессии. Как пояснил тогдашний глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Кирилла, «мы не выступали с инициативой отмены празднования 7 ноября. Мы выступили с инициативой сделать 4 ноября Днем согласия и примирения, потому что 7 ноября в силу исторических событий, произошедших в этот день, не может быть Днем примирения и согласия» [Митрополит Кирилл... 2004]. Формально речь шла не о переоценке Октябрьской революции, а о выборе более подходящего повода для праздника народного согласия / единства. Позже, 6 июля 2005 г., по предложению думского Комитета по труду и социальной политике были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», и 7 ноября стало памятной датой в формулировке «День Октябрьской революции 1917 года» (кроме того, этот день остается и днем воинской славы – «Днем проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)») [ФЗ от 13 марта 1995 г. № 31-ФЗ]. Таким образом, в итоге «путинской» реформы праздничного календаря 7 ноября вновь стало Днем Октябрьской революции (правда, уже не «великой» и не «социалистической»). Ельцинская формулировка – «День согласия и примирения» – была упразднена.

Возникает вопрос: почему в середине 2000-х годов, как и в начале 1990-х, властвующая элита предпочла «отбросить» символ Октябрьской революции, вместо того чтобы работать над его трансформацией? Казалось бы, взятый на вооружение принцип «тотальной преемственности» открывает возможность для интеграции этого по общепринятым меркам «великого» события, несомненно значимого с точки зрения конструирования российской идентичности, в обновленный национальный нарратив. На мой взгляд, объяснений может быть несколько. Во-первых, трансформация мифа об Октябре требовала основательного погружения в споры о советском прошлом. Однако всецело сосредоточенная на «нациестроительном» апологетическом подходе, путинская политика памяти не была ориентирована на критическую «проработку» прошлого. Советское наследие использовалось в той мере, в какой

оно подкрепляло апологетический нарратив. Во-вторых, если что-то и объединяло российскую политическую элиту 1990-х и 2000-х годов, то это страх перед революцией [см.: Малинова, 2015, с. 62–68]. Не случайно, как заметил В. Иноземцев, решение о «замене» праздника было принято 29 декабря 2004 г. – через три дня после завершения украинской оранжевой революции [Иноземцев, 2012]. В-третьих, возможно, сыграли свою роль и личные взгляды В.В. Путина, который никогда не выказывал особой приверженности Октябрьской революции [см.: Малинова, 2015, с. 78–79].

Так или иначе, решение о понижении символического статуса бывшего «мифа основания» Советской России позволило исключить тему 1917 г. из официальной политики памяти без малого на десять лет. Однако это не означает, что тема революции 1917 года перестала волновать общественность. Оставаясь центральным элементом разных нарративов, поддерживающих модели «проработки трудного прошлого» и «консолидации нации», она продолжала оставаться предметом острых споров.

Поиски смысловой формулы для «неудобного юбилея»

Приближение 100-летнего юбилея возвращает тему революции в повестку официальной политики памяти. Дискуссии возобновились в связи с другим юбилеем – начала Первой мировой войны. 4 июля 2012 г. вопрос о ее коммеморации был поднят на встрече В.В. Путина с членами Совета Федерации. Горячо поддержав данную инициативу, Путин, по-видимому экспромтом, стал объяснять, почему эта война оказалась «забытой». По его версии, это произошло «не потому, что ее обозвали империалистической», а потому, что «тогдашнее руководство страны» предпочитало не вспоминать о собственном «национальном предательстве», определившем ее исход для России [Путин, 2012]. Как известно, в условиях Гражданской войны большевистское руководство подписало с де-факто проигравшей войну Германией сепаратный мир в Брест-Литовске. Некоторые историки усматривают в действиях большевиков, обеспечивших досрочный вывод России из войны, выполнение обязательств перед германским правительством, которое – это документально известно – оказывало им финансовую помощь. Однако Путин не стал развивать конспирологическую версию; он ус-

мотрел «национальное предательство тогдашнего руководства страны» в действиях, которые привели к потере огромных территорий и принесли ущерб интересам страны. Правда, он тут же оговорился: большевистское руководство «искупило свою вину перед страной в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной» [Путин, 2012]. Очевидно, что при такой постановке вопроса Октябрьская революция вряд ли может рассматриваться как «великое событие», которым следует гордиться – скорее это момент трагического «срыва», «исправленный» последующим ходом истории.

Лидер коммунистов Г.А. Зюганов опроверг на партийном сайте заявление Путина о «национальном предательстве» большевиков, предложив свою версию событий, согласно которой в неудачах России в Первой мировой войне и падении империи виноваты «кризис царизма и вырождение династии Романовых». Большевики, по мнению Зюганова, не имеют отношения к распаду страны – напротив, «Гражданская война... быстро приобрела характер национально-освободительной», и победив, «они буквально в считанные годы заново собрали воедино подавляющую часть государства российского, обеспечив ему такое экономическое, социальное и культурное единство, которого наша страна никогда не знала прежде» [Зюганов, 2012].

Продолжение дискуссии последовало в связи с подготовкой Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, инициированной В.В. Путиным в феврале 2013 г. В ходе дискуссий рабочей группы по подготовке Концепции родился новый вариант определения событий 1917 г. – «Великая российская революция 1917–1921 гг.» [Концепция... 2013, с. 40]. По аналогии с Французской революцией авторы Концепции решили представить Великую российскую революцию как сложный процесс, начавшийся свержением самодержавия в феврале 1917 г. и закончившийся Гражданской войной [см.: Чубарьян, 2013]. Формула, предложенная разработчиками Концепции, подчеркивала всемирно-исторический характер «Великой российской революции» и «начавшегося в октябре 1917 г. “советского эксперимента”» как событий, оказавших сильнейшее влияние на общемировые процессы [Концепция... 2013, с. 39]. Вместе с тем она отдавала должное трагической стороне революции, обернувшейся «катастрофическими... людскими потерями», ростом детской беспризорности и распадом государства [там же]. Хотя новое определение

событий 1917–1921 гг. вызвало новую волну споров, в какой-то момент казалось, что именно эта формула может быть положена в основу программы юбилейных мероприятий. С одной стороны, она в полной мере отвечает духу апологетической эклектики, характерной для путинской политики памяти: исторические эпизоды, имеющие кардинально разное общественно-политическое значение, собраны в единую смысловую конструкцию, подчеркивающую и трагическую, и всемирно-историческую составляющую «Великой российской революции». С другой стороны, данная формула в какой-то мере позволяет решать задачи «проработки трудного прошлого» (даже если она и не ставит их во главу угла). В силу этого формулировка, предложенная рабочей группой по разработке Концепции, казалось бы, способна вписаться в широкий спектр идеологических конструкций, представленных на современном «рынке идей».

Однако набор предложений относительно официальной формулы коммеморации этим не ограничился. В производство таковой включилась «тяжелая артиллерия» в лице министра культуры РФ В. Мединского и министра иностранных дел РФ С. Лаврова. Первый предложил «Платформу национального примирения», которую представил в мае 2015 г. на круглом столе «100 лет Великой российской революции: Осмысление во имя консолидации», организованном возглавляемым им Российским военно-историческим обществом в Музее современной истории России. Формула Мединского подчеркивала «живую преемственность в развитии страны от Российской империи к Советскому Союзу и далее – к Российской Федерации». Говоря о недопустимости «войны с памятью», министр культуры предлагал не углубляться в исторические оценки, а просто «проявить уважение к памяти героев обеих сторон (“красных и белых”)». Правда, сам он не удержался от оценок, заявив, что «искренне отстаивавшими свои идеалы» красными и белыми «двигал патриотизм», и потому «герои» «невиновны в массовых репрессиях и военных преступлениях». Таким образом, предложение Мединского сводилось к «примирению» за счет отказа от «критической проработки прошлого». Революцию предлагалось вписать в «апологетический» национальный нарратив как трагическое столкновение не пришедших к согласию «патриотов». Закреплением этой «патриотически-примирительной» формулы юбилея, по предложению Мединского, должен стать па-

мятник примирения в «вернувшемся в родную гавань» Крыму – «там, где закончилась Гражданская война» [Мединский, 2015].

Несколько иная версия того же нарратива была предложена в статье С. Лаврова «Историческая перспектива внешней политики России», опубликованной в марте 2016 г. Опираясь на хронологическую рамку, предложенную авторами Концепции 2013 г., Лавров попытался вписать «революцию 1917 года и Гражданскую войну» в общемировой контекст: назвав их «тяжелейшей трагедией для нашего народа», он подчеркнул, что «трагедиями были и все другие революции». Министр иностранных дел высказывал опасение, что предстоящий юбилей «может быть использован для новых информационных атак на Россию», представляющих революцию «в виде какого-то варварского переворота, чуть ли не столкнувшего под откос европейскую историю». Возражая против возможных нападок, Лавров писал о «неоднозначном и многоплановом» воздействии революции 1917 года на мировую историю и представлял ее как «своего рода эксперимент по реализации на практике социалистических идей, имевших тогда широчайшее распространение в Европе». Хотя в этой версии не было рассуждений о «патриотизме» красных и белых, идея «непрерывности российской истории» также была поставлена во главу угла. Говоря о невозможности «вымарать какие-то периоды» нашей истории, автор статьи тем не менее в духе «апологетического» подхода призывал сосредоточиться на «позитивных традициях» [Лавров, 2016].

Таким образом, в преддверии юбилейного года в распоряжении лиц, принимавших решение о коммеморации, были как минимум три варианта ее формулы: 1) «Великая российская революция» как «сложный процесс», требующий взвешенной оценки, 2) «революция 2017 года и Гражданская война» как неотъемлемая часть мировой и «непрерывной российской» истории, 3) «примирение» на почве признания «патриотизма» как красных, так и белых. Как мы видели, выбор был сделан в пользу «революции 1917 года в России» как повода для «примирения» и «укрепления... согласия» [Путин, 2016].

Несмотря на очевидное сходство, выбранная формула не идентична ельцинскому «согласию и примирению». Хотя и в середине 1990-х годов основной целью была «стабилизация» достигнутого статус-кво, «согласие» тогда предполагалось достигнуть на базе «критического» нарратива. Поэтому если бы за переименова-

нием праздника последовали реальные шаги по изменению инфраструктуры памяти о революции 1917 года, это в перспективе могло бы привести к «проработке» травмы и «включению» противоположных «видений событий в общий контекст более высокого уровня» [Ассман, 2014, с. 73]. Однако ни властвующая элита, ни оппозиция были не готовы работать над этими задачами.

В 2017 г. «примирение» предполагается на основе «апологетического» нарратива, ради поддержания «согласия, которого нам удалось достичь» по итогам «крымского консенсуса» [Путин, 2016]. Оно направлено не на проработку травмы, а на «усмирение страстей» с помощью «патриотической риторики». Можно согласиться с И. Калининым – «официальная идеологическая рамка отмечаемого юбилея предназначена как раз для того, чтобы встать на пути» призрака революции, «не дать ему стать частью возможного исторического горизонта, определяющего линии политического размежевания, – или хотя бы частью необходимой общественной исторической рефлексии» [Калинин, 2017]. В этом смысле выбор главного «мемориального мероприятия» – запланированного на 4 ноября 2017 г. открытия Памятника примирению в Керчи – выглядит примечательно. Не углубляясь в споры о «великой российской революции», властвующая элита собирается привязать «неудобный юбилей» к новым символам согласия – возвращению Крыма «в родную гавань» и недавно изобретенному «народному единству». Вопрос, однако, заключается в том, сможет ли миф о «достигнутом согласии» перевесить конфликты современных интерпретаций бывшего «мифа основания» Советской России. Ответ станет известен совсем скоро.

Список литературы

- Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Пер. с англ. Б. Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.
- Бурдые П. Социология социального пространства. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
- Васильков Ю. Третий путь в XXI век // Российская газета. – М., 2000. – № 241 (2605), 22 декабря. – С. 4.
- Голованов Л. Мифы, которые мы выбираем // Общая газета. – М., 1996. – № 21, 30 мая. – С. 5.

- Мединский В.* Документ дня: Платформа национального примирения России. Министр культуры России сформулировал пять тезисов, обеспечивающих преемственность истории страны // Lenta.ru. – М., 2015. – 20 мая. – Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2015/05/20/medinskyvoice/> (Дата посещения: 01.05.2017.)
- Драгунский Д.* Октябрь уж отступил // Итоги. – М., 1997. – № 43. – С. 8.
- Дубин Б.* Символы возврата вместо символов перемен // Pro et contra. – М., 2011. – № 5 (53). – С. 6–22.
- Ельцин Б.Н.* О демократической российской государственности и проекте новой Конституции // Обозреватель – Observer. – М., 1993. – № 15. – С. 4.
- Ельцин Б.Н.* Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «О действенности государственной власти в России». – М., 1995. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejstvennosti_gosudarstvennoj_vlasti_v_rossii_1995_god.html (Дата посещения: 11.11.2012.)
- Ельцин Б.Н.* Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Россия, за которую мы в ответе». – М., 1996. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html (Дата посещения: 11.11.2012.)
- Закатнова А.* День примирения и согласия прошел без эксцессов // Независимая газета. – М., 2000. – 9 ноября. – Режим доступа: http://www.ng.ru/events/2000-11-09/2_day.html (Дата посещения: 04.06.2017.)
- Зюганов Г.А.* Взгляд за горизонт // Обозреватель – Observer. – М., 1994. – № 18. – С. 139–156.
- Зюганов Г.А.* «Не Ленин со Сталиным» // Персональный сайт Г.А. Зюганова. – М., 2012. – 24 июля. – Режим доступа: <http://www.zyuganov.kprf.ru/news/ne-lenin-sostalinum> (Дата посещения: 04.06.2017.)
- Иноземцев В.* Раздвоение сознания // Независимая газета. – М., 2012. – № 232 (5719), 7 ноября. – С. 2.
- Калинин И.* Призрак юбилея // Неприкосновенный запас. – М., 2017. – № 111 (1). – С. 11–20. – Режим доступа: <http://www.nlobooks.ru/node/8279> (Дата посещения: 29.04.2017.)
- Каспэ С.И.* Политическая теология и nation-building: Общие положения, российский случай. – М.: РОССПЭН, 2012. – 191 с.
- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. – М., 2013. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf> (Дата посещения: 21.04.2017.)
- Константинов С.* Октябрьская революция была неизбежна // Независимая газета. – М., 2000. – № 211 (2273), 5 ноября. – Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/2000-11-05/1_inevitable.html (Дата посещения: 04.06.2017.)
- Копосов Н.Е.* Память строгого режима. История и политика в России. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 320 с.
- Лавров С.* Историческая перспектива внешней политики России // Россия в современном мире. – М., 2016. – Режим доступа: <http://www.globalaffairs.ru/global->

- processes/Istoricheskaya-perspektiva-vneshnei-politiki-Rossii-18017 (Дата посещения: 01.05.2017.)
- Малинова О.Ю.* Символическая политика: Контуры проблемного поля // Символическая политика / РАН. ИНИОН. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – М., 2012. – С. 5–16.
- Малинова О.Ю.* Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.
- Малинова О.Ю.* Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России: от 1990-х к 2010-м годам // Полис. Политические исследования. – М., 2016. – № 6. – С. 139–158.
- Медведев Д.А.* Интервью газете «Известия» // Портал «Президент России». – М., 2010. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/7659> (Дата посещения: 11.08.2016.)
- Миллер А.И.* Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века // Историческая политика в XXI веке. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 328–367.
- Митрополит Кирилл считает духовной, а не политической инициативу отмечать День согласия и примирения 4 ноября // Православное информационное агентство «Русская линия». – М., 2004. – 28 октября. – Режим доступа: <http://rusk.ru/st.php?idar=712217> (Дата посещения: 21.04.2017.)
- Никонов В.* Российский век // Известия. – М., 1999. – 28 декабря. – С. 5.
- О Дне согласия и примирения. Указ Президента РФ // Российская газета. – М., 1996. – № 214 (1574), 10 ноября. – С. 2.
- Пинскер Д.* Год, которого не было // Итоги. – М., 1997. – № 43. – С. 6.
- План основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России. – М., 2017. – 23 января. – Режим доступа: <http://rushistory.org/images/documents/plan100letrevolution.pdf> (Дата посещения: 22.04.2017.)
- Предложения об учреждении общенациональной государственно-общественной программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении». Подготовлены Рабочей группой Совета по исторической памяти и переданы Президенту РФ на встрече 1 февраля 2011 года в Екатеринбурге. – Екатеринбург, 2011. – Режим доступа: http://www.president-sovet.ru/structure/group_5/materials/proposals_at_a_meeting_in_ekb/index.php (Дата посещения: 22.04.2017.)
- Путин В.В.* Ответы на вопросы членов Совета Федерации // Президент России. – М., 2012. – 27 июня. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/15781/work> (Дата посещения: 22.04.2017.)
- Путин В.В.* Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России. – М., 2016. – 1 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379> (Дата посещения: 21.04.2017.)
- Распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России // Президент России. – М., 2016. – 19 декабря. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/acts/news/53503> (Дата посещения: 22.04.2017.)

- Соколова М., Яковлева Е.* Прибавление смуты. Что мы будем праздновать 4 ноября // Российская газета (Федеральный выпуск). – М., 2004. – № 3621, 4 ноября. – Режим доступа: <https://rg.ru/2004/11/04/prazdnik.html> (Дата посещения: 04.06.2017.)
- Тучкова А.* Примирение и согласие не только для левых // Независимая газета. – М., 2001. – № 208 (2518), 6 ноября. – Режим доступа: http://www.ng.ru/events/2001-11-06/6_november.html (Дата посещения: 04.06.2017.)
- Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (с изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ. – М., 1995. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/1518352/#ixzz38YvyM4Ii> (Дата посещения: 21.04.2017.)
- Чубарьян А.О.* Как школьные учебники переведут в новый стандарт?: Интервью с А. Чубарьяном // Коммерсантъ. – М., 2013. – 31 октября. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2332034> (Дата посещения: 21.04.2017.)
- Coakley J.* Mobilizing the past: Nationalist images of history. – Nationalism and ethnic politics. – L. etc., 2007. – Vol. 10, N 4. – P. 531–560.
- Gill G.* Symbolism and regime change in Russia. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2013. – viii, 246 p.
- Kalinin I.* Nostalgic modernization: The Soviet past as ‘historical horizon’ // Slavonica. – 2011. – Vol. 17, N 2. – P. 156–166.
- Schöpflin G.* The functions of myth and a taxonomy of myths // Myths and nationhood / Ed. by G. Hosking, G. Schopflin. – N.Y.: Routledge, 1997. – P. 19–35.
- Smith A.D.* Myths and memories of the nation. – Oxford: Oxford univ. press, 1999. – 288 p.
- Smith K.E.* Mythmaking in the new Russia: Politics and memory during the Yeltsin era. – Ithaca etc.: Cornell univ. press, 2002. – xi, 223 p.